



«Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкина

(К проблеме повествователя)

Давно и верно замечено, что постижение художественной логики «Путешествия из Москвы в Петербург» непосредственно связано с выявлением той реальной роли, которую в структуре текста играет образ повествователя. Однако всякая попытка «схватить» и описать его суть наталкивается на живое сопротивление материала. Пушкинский герой обладает какой-то странной способностью казаться то ровесником поэта, то старым брюзгой¹, помнящим «екатерининские времена», являться «смирненным обывателем»² и одновременно «большим любителем отечественной словесности»³; «быть крепостником»⁴, «бесхитростным выразителем охранительной идеологии» и вместе с тем человеком с независимыми и критическими мнениями⁵. Пытаясь осмыслить столь разноречивые толкования, мы неизбежно оказываемся перед необходимостью понять, заложены ли подобные противоречия в самом тексте или они возникают лишь в процессе интерпретации «Путешествия из Москвы в Петербург» и, следовательно, спровоцированы какими-то просчетами исследовательского подхода.

¹ Абрамович С. Л. Крестьянский вопрос в статье Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург». — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. IV. М.; Л., 1962, с. 217.

² Мейлах Б. Пушкин и его эпоха. М., 1958, с. 398, 399.

³ Городецкий Б. П. «Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкина. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. III. М.; Л., 1960, с. 232.

⁴ Еремин М. Пушкин-публицист. 2-е изд. М., 1976, с. 303.

⁵ Городецкий Б. П. «Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкина, с. 236.

Пушкинский герой рассказывает о себе сам. Однако непосредственно и как будто единственно причастный к тем характеристикам и впечатлениям, которые возникнут у читателя, он говорит о себе немного и неопределенно. Очевидно, устраняя всякую однозначность ситуации, снимая резкость рисунка и открытую мотивированность поступка героя⁶, писатель стремился сохранить ощущение неясности его лица и неполноты складывающихся о нем представлений. Эта установка определяет особое отношение к слову повествователя: значимы не только высказывание как таковое, но и существенно корректирующая его смысл форма (интонационная окраска, композиция и ритм речи). Противоречие таится уже в первом сообщении героя о себе: «Узнав, что новая московская дорога совсем окончена, я *вздумал* съездить (курсив здесь и ниже мой — Р. Л.) в Петербург, где *не бывал более пятнадцати лет*» (XI, 243). Статика бытия (какой бы длительной она ни была) не покрывает сути героя, потенциально мобильного, способного вдруг, внезапно решить, задумать что-нибудь сделать. Наделенное всеми признаками монологической речи, слово повествователя, однако, не замкнуто в границах самовысказывания: «Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый. Мои приятели смеялись над моей изнеженностью, но я не имею и притязаний на фельдъегерское геройство» (XI, 243). Немногочисленные варианты последней фразы особенно значимы. Отвергнуто все, что может как-то пояснить и тем самым сузить смысл: «смеялись над нежностью моего здоровья» (XI, 455); «смеялись над моей изнеженностью и непривычкой к дороге» (XI, 223). Заменен знак препинания: запятая вместо точки перед союзом «но». Сделано все, чтобы в сознании читателя сблизилась и столкнулись далекие и «несовместные» понятия: «изнеженность» и «фельдъегерское геройство». Однако соседство их может показаться неожиданным только на первый взгляд. Это «следы» оставшегося за текстом диалога, «осколки» реплик, закрепленных за разными субъектами. Фраза: «Мои приятели смеялись над моей изнеженностью, но я не имею и притязаний на фельдъегерское геройство» (XI, 243) — могла возникнуть лишь в результате своеобразного «наложения» и слияния этих голосов. «Противослово»

⁶ См. черновую редакцию главы «Шоссе»: [«Я начал записки свои не для того, чтоб льстить властям, товарищ, избранный мной, худой внушитель ласкательства»] (XI, 223).

(М. Бахтин) «фельдъегерское геройство», безусловно, принадлежит путешественнику. Самое появление его вызвано неприятием чужого слова («изнеженность»), чужого, непонимающего, хотя и исходящего от близких взгляда («Мои приятели смеялись»). Это слово — возражение; за ним — попытка самозащиты и самооправдания. Отмеченное иронически грустной интонацией и невидимым жестом, оно уводит читателя к тем дорожным впечатлениям пятнадцатилетней давности, о которых сейчас абсолютно ничего не говорится. Умолчание, особенно странное на фоне подробного и как будто бы откровенного рассказа, заставляет предполагать какую-то внутреннюю «редакцию» воспоминаний, невольно сместившую акценты. Обстоятельства чисто внешнего характера так укрупнены, что создают иллюзию единственной причины «неблагополучного» путешествия: «Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили» (XI, 243). В то же время важное и, по-видимому, единственно подлинное, способное многое объяснить сведено к едва уловимому намеку, отзвукам давнего разговора. Таким образом, истинный смысл реплики «оппонента» может быть восстановлен только в контексте «противослова». Но тогда необходимо отказаться от слишком буквального понимания ее. «Изнеженность» пушкинского героя — вовсе не барская привычка к комфорту, а нечто принципиально иное, «несовместное» с «фельдъегерским геройством». Намеренная разорванность причины и следствия, поступка («с той поры уже никуда не выезжал») и его психологического обоснования — оно отнесено в конец текста («Молодой мой образ мыслей, и пылкость тогдашних чувствований») — создает особую многозначность понятия. «Изнеженность» — это скорее всего внутренняя незащищенность от тех сторон бытия, знаком которых в сознании путешественника стало «фельдъегерское геройство». «Изнеженность», то есть душевная ранимость, «отвратила» пушкинского героя от помещика, «тирана, по системе и по убеждению». Быть может, она же отбила у него (и надолго) «охоту к перемене мест»: ведь не случайно и описание первой поездки в Петербург, и эпизод, рассказанный в главе «Шлюзы», отнесены почти к одному времени — «лет 15 назад» (XI, 267).

Столь подробный анализ экспозиции героя предпринят сознательно. Представление о «достаточной полноте»

и «определенности» «облика рассказчика»⁷ основывается на однозначном (еще точнее, слишком буквальном) понимании приема «рассказ от первого лица», заведомо ограничивающем слово повествователя рамками прямого монологического высказывания. Отсюда максимальное доверие к каждому отдельному суждению героя о себе и сосредоточенность анализа на тех немногих разрозненных биографических реалиях, которые содержатся в тексте. Однако форма *Icherzählung* сама по себе еще не определяет типа слова. Выявить возможности и границы этой формы — значит соотнести ее с установкой целого, с жанровой структурой текста прежде всего.

Самостоятельная, сложная и по существу неизученная, эта проблема сознательно ставится мною лишь в самых необходимых «пределах»: соотношение пушкинского текста с той литературной формой (путешествие), на которую он явно ориентирован.

Сюжетный центр путешествия, и в частности интересующей нас модели жанра (Стерн, Радищев, Карамзин), — событие. Препятствие, «приключение»⁸, «происшествие»⁹ (их переживание или приобретающий самодовлеющую ценность самый процесс рассказывания о случившемся) мотивированы хронотопом дороги и встречи. Единственное событие, происходящее в «Путешествии из Москвы в Петербург», — чтение книги Радищева. Но природа этого «события» совсем иная. Цитата из «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина (всего лишь отдельный, хотя и неоднократно повторенный «эпизод» в структуре сентиментального путешествия) предельно «укрупнена», «растянута» до целого, до сюжета. Выбор книги в «Письмах русского путешественника» всегда сознателен и строго ограничен ситуацией, заданием: «В пять часов поутру вышел я из Лозанны с весельем в сердце — и с Руссою «Элоизою» в руках. <...> Я хотел видеть собственными глазами те прекрасные места, в которых бессмертный Руссо поселил своих романтических любовников»¹⁰. В «Путешествии из Москвы в

⁷ Карпов А. А. О повествователе в «Путешествии из Москвы в Петербург». — В кн.: Вопросы филологии. VII. Л., 1978, с. 188.

⁸ Ср.: «...мне хотелось приключений — приключений, сущности чувствительных путешествий». — [Измайлов А. Е.]. Поездка в Вятку. — Календарь муз на 1826 год. СПб., 1826, с. 174.

⁹ «Какие происшествия ожидают меня в моем странствии?..» — Яковлев П. Л. Чувствительное путешествие по Невскому проспекту. — Благонамеренный, 1820, ч. X, с. 337.

¹⁰ Карамзин Н. М. Избр. соч. В 2-х т. М.; Л., 1964, т. 1, с. 277. В дальнейшем — Карамзин, т. 1, с.

Петербург» книга сама и как будто «случайно» (XI, 245) находит героя. В структуру сентиментального путешествия книга входит избранными страницами, строками, обрывками настроений, множеством мелочей, любовно хранимых в памяти. В «Путешествии из Москвы в Петербург» книга выступает отнюдь не в роли «путеводителя» по местности. Память, которой книга отмечена в сознании пушкинского героя — «типографическая редкость, потерявшая свою заманчивость» (XI, 245), — лишена теплоты и интимности общения, неизменно связывающих сентиментального путешественника и литературное произведение. «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева входит в структуру пушкинского текста как целое, как концепция и потому осмысливается и оценивается прежде всего на уровне идей.

Один из существенных моментов, определяющих «физиономию» жанра, — «изложение первейших, а равно и конечных целей <...> путешествия»¹¹. Путешествие немислимо вне мотивировки: она направляет движение сюжета, она определяет тип героя, или «разряд» путешественников, по терминологии Стерна. Герой «Путешествия из Москвы в Петербург» выпадает из «классификации» английского писателя и его русских последователей. Он не чувствительный герой Радищева, уязвленный «страданиями человечества», не провидец, сознающий свою высокую миссию («не сугубой ли плод произойдет от подъятого мною труда?...»)¹². У него нет того «беспокойства сердца человеческого» (Карамзин, т. 1, с. 84), которое влечет в дальнее странствие героя Карамзина. Он лишен не только изощренной реакции и тончайшей отзывчивости стерновского Йорика на мир и на самого себя, но и просто способности видеть все, «что время и случай постоянно предлагают ему в его странствиях» (с. 48). Он утратил не только «страсть» к путешествию, но и «besoin de voyager» (потребность путешествовать) (с. 30). Он — не путешественник, а то, что называют «Путешествием из Москвы в Петербург», — не путешествие в традиционном смысле слова.

Внутренний мир «Путешествия из Москвы в Петер-

¹¹ Стерн Л. Сентиментальное путешествие. Мемуары. Избранные письма. Перевод Н. Вольпин. Ред., вступит. статья и комментарий С. Р. Бабуха. М., 1935, с. 29. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.

¹² Радищев А. Н. Полн. собр. соч. М., 1938, т. 1, с. 227. В дальнейшем ссылки (с обозначением тома и страницы) даются в тексте.

бург»—это мир парадоксов. Здесь путешествуют, «боясь разговоров с почтовыми товарищами» (XI, 244), между тем, как всегда (и еще совсем недавно), тяготы дороги искупались приятным обществом, занимательными и необыкновенными рассказами, а «известие, что дилижанс пуст», могло «почти отбить охоту к путешествию»¹³. Здесь путешествуют не для того, чтобы «собрать новые идеи и новые чувства» (Карамзин, т. I, с. 137), а затем, чтобы ...читать «скучную»¹⁴ книгу: «Вот на что хороши путешествия» (XI, 244). В «Путешествии из Москвы в Петербург» снимается характерная для мышления конца XVIII в. оппозиция: книга—жизнь («Все идеи, которые мы получаем из книг, можно назвать мертвыми в сравнении с идеями очевидца». — Карамзин, т. I, с. 137). «Скучной» книге не только отдано предпочтение, ей возвращена возможность и способность быть художественным эквивалентом действительности, представлять свое время и свои идеи. Литература и жизнь — диалектика отношений между ними определяет исходную ситуацию «Путешествия из Москвы в Петербург», где чтение книги превращается в диалог двух эпох, культур, мировоззрений, где книга проверяется жизнью, а действительность познается с позиций тех максималистских требований и задач, которые ставятся в «сатирическом воззвании к возмущению» (XII, 32).

Внутренний мир «Путешествия из Москвы в Петербург» откровенно литературен. Его образы чаще всего не могут быть выведены только из данного контекста. За ними стоят другие миры и другие контексты. В художественную ткань «Путешествия» «чужое слово» редко вводится объективно, нейтрально. Включение его почти всегда сопровождается сломом, деформацией, откровенным утрированием. Дорожные неприятности, поломка кареты — общее место всех путешествий¹⁵ («лошади были худы, выпрягались *поминутно*; наконец, спускаясь с не-

¹³ [Погорельский А.]. Двойник, или Мои вечера в Малоросии. Ч. II. Спб., 1828, с. 133.

¹⁴ Цитата из «Путешествия» Радищева. См. об этом: Лазарчук Р. М. «Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкина (К проблеме композиции). — В кн.: Вопросы поэтики литературных жанров. Сб. научных трудов. — Вып. 2. Л., 1977, с. 14.

¹⁵ Ср.: «...я вздумал, к несчастью, ехать из Петербурга на *перекладных* (курсив автора. — Р. Л.) и нигде не находил хороших кибиток. В Нарве <...> лишь только отъехали с полверсты, переломилась ось: кибитка упала в грязь, и я с нею». — Карамзин, т. I, с. 84. Заметим, что пушкинский герой учел этот чужой (литературный) опыт и «не решился скакать на *перекладных*» (курсив мой. — Р. Л.).

большой горы, ось у кибитки переломилась» (I, 279) — описываются здесь с колоссальным преувеличением: «Проклятая коляска требовала *поминутно* (курсив здесь и выше мой. — Р. Л.) починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили» (XI, 243). Событие одного дня радищевского героя («Сей день путешествие мое было неудачно» (I, 279) растянуто на неделю («путешествие наше было неблагоприятно»), а чужое «минутное» состояние¹⁶ — на годы собственной жизни («с той поры уже никуда не выезжал» (XI, 243). Связанная иногда одновременно с несколькими источниками, цитата несет в себе чрезвычайно подвижные смыслы, обладает способностью «наращивать» их и множить тонкие и сложные ассоциации. «Путешествие из Москвы в Петербург» требует особого чтения, методика которого отдаленно напоминает чтение «скучной» книги: она «читается с расстановкою, с отдохновением — оставляет вам способность позабыться, мечтать; опомнившись, вы опять за неё принимаетесь, перечитываете места, вами пропущенные без внимания» (XI, 244).

Слово повествователя совсем не так простодушно, как это кажется исследователям. Оно полно неожиданностей и парадоксов. Оно доказывает, убеждает, взывает: «Посмотрите», «прочтите», «взгляните». В пылу полемики оно становится безжалостно проницательным («Вместо всего этого пустословия...» (XI, 258), возмущенным. Тогда ему изменяет объективность, оно начинает придирается к «чужому слову», огрубляет и искажает его: «Радищев начертал карикатуру <...>. Замечательно и то, что Радищев, заставив свою хозяйку жаловаться на голод и неурожай, оканчивает картину нужды и бедствия сею чертою и *начала сажать хлебы в печь* (курсив автора. — Р. Л.)»¹⁷ (XI, 256—257). Это слово публицистическое. И тогда возникает кардинальный для понимания «Путешествия» вопрос, кому принадлежит это слово.

Исследователи давно отвергли мысль о существовании в структуре пушкинского текста двух планов и двух голосов: собственно пушкинского и совершенно чуждого ему простодушно-обывательского голоса героя. Однако

¹⁶ «Все приятные мысли о путешествии затмились в душе моей <...> Внутренне проклинал я...» — Карамзин, т. I, с. 84.

¹⁷ Напомним существенную деталь, «пропущенную» героем при чтении главы «Пешки»: хлеб «состоял из трех четвертей мякины и одной части несеейной муки» (I, 377).

представление об абсолютной раздельности мира автора и героя, о максимальной и принципиальной отграниченности их голосов осталось. Оно держится благодаря гипнотическому действию первоначальной характеристики героя («домосед»), мешающей уяснить реальную сложность этих отношений. Вернемся к экспозиции героя и попытаемся уловить ритм обнаружения его характера.

«...Поведение персонажа — это не только поступки, действия, но и любое участие в сюжетном движении, вовлеченность в совершающиеся события...»¹⁸, — пишет Л. Я. Гинзбург. Специфичность события в «Путешествии из Москвы в Петербург» (чтение книги) активизирует все, что предшествует этому «происшествию». В самом деле, насколько герой сам, непосредственно причастен к завязке сюжета, или столь необычная коллизия возникает помимо него и он втягивается в действие совершенно случайно? Разговор героя со «старым приятелем, коего библиотекой привык он пользоваться», содержит ряд замечаний, важных уже потому, что они исходят от другого лица. Их авторитетность подтверждается долгой дружбой и безусловным знанием характера героя: «Постой, — сказал мне**, — есть у меня для тебя книжка <...> Прошу беречь ее <...> Надеюсь, что ты вполне оценишь и оправдаешь мою доверенность» (XI, 244—245). И хотя в черновой редакции «Путешествия» мнение «старого приятеля» выражено более категорично («знаю, чего тебе надобно». — XI, 224), его доверие другу беспредельно: в «дорогу» дается книга, которая в собственной библиотеке хранится потаенно. В мир «странностей» пушкинского текста вовлечен и этот эпизодический персонаж. Реплики «старого приятеля» невольно «подтягивают» к себе другой материал: герой отказывается от нравственно-сатирического романа и «искренно благодарит**» за книгу Радищева. Он знает судьбу ее автора, он будет читать «Путешествие из Петербурга в Москву» не в первый раз¹⁹. Безусловно, возникающие на этом отрезке текста представления о герое не покрывают всей сути его характера. Благодаря постоянно срабатывающему принципу противоречия (см. оценку «Путешествия» Радищева, отчасти разрушающую складывающееся единство поведения героя и его «старого приятеля»), об-

¹⁸ Гинзбург Л. О литературном герое. Л., 1979, с. 90.

¹⁹ Об этом и др. доказательства законченности «Путешествия» см. в моей статье: «Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкина. (К проблеме композиции), с. 11—14.

раз повествователя строится так, что, стремясь к определенности, он никогда не достигает ее. И тем не менее выявляемые в процессе анализа свойства героя не имеют ничего общего с фантастическими по надуманности и несправедливости характеристиками его, еще бытующими в науке.

В «Путешествии из Москвы в Петербург» много автобиографического. Очевидно, именно ощущением прозрачности намека объясняется, строго говоря, недозволенный в текстологии ход: раскрытие имени «старого приятеля». В издании сочинений Пушкина под ред. Н. К. Козмина (т. 9, ч. I, 1929, с. 170) вместо авторского знака** дается взятое в угловые скобки имя С. А. Соболевского, друга поэта и известного библиографа. Среди приятелей героя — «великий меланхолик», автор «любопытного сравнения между обеими столицами <...> Москва и Петербург» (XI, 248) — Н. В. Гоголь.

Судьбы автора и героя связаны множеством мелочей, не всегда поддающихся точному объяснению, но, несомненно, сближающих их. Действие в «Путешествии из Москвы в Петербург» отнесено к 1833 году: «Почтенный Кребб, умерший в прошлом году» (XI, 254) — Дж. Крабб умер в 1832 году. Приблизительно в это же время («не раньше июня—июля 1833 г.»)²⁰ Пушкин приобрел экземпляр «Путешествия» Радищева, «бывший в тайной канцелярии». Герой «Путешествия из Москвы в Петербург» — ровесник поэта, а случай, рассказанный повествователем в главе «Шлюзы», несомненно, напоминает михайловские впечатления Пушкина, знакомые каждому по стихотворению «Деревня». И, по-видимому, не случайно эти события так сближены во времени: в мире автора — 1819 год; в мире героя — «лет 15 назад» — 1818—1819 годы.

Жизнь повествователя очерчена в «Путешествии из Москвы в Петербург» двумя крайними вехами, но то, что стоит между ними, чем заполнены 15 лет безвыездной жизни в Москве, вполне восстановимо. Казалось бы, далекие временные планы сошлись в рассказе о событии, давно отошедшем в прошлое, но переживаемом так, словно оно свершилось вчера. История помещика, убитого «своими крестьянами во время пожара», рассказана не только с «пылкостью чувствований», сохраненной временем, но и с приобретенными в зрелые годы нена-

²⁰ См.: Научн. ежегодник Саратовского ун-та за 1954 год. Саратов, 1955, с. 149.

вистью и сарказмом. Краски, накладываемые на воспоминания молодости, напоминают мрачную и резкую живопись Радищева: «мучитель», «тиран по системе и по убеждению» (XI, 267).

Тот контекст, в котором всегда рассматривается «Путешествие из Москвы в Петербург» («Повести Белкина», «История села Горюхина») и который чужд ему по самой своей природе, не проявляет, а затушевывает истинный смысл реального соотношения автора и героя. Повествователь мыслится как одно из многочисленных проявлений пушкинского артистизма, как грим, маска. Между тем, кажется, еще ни в одном произведении Пушкина физиономия сочинителя не была так плохо спрятана. Роль повествователя в «Путешествии из Москвы в Петербург» не может быть сведена только к «обязанностям» рассказчика. Он читатель, критик, аналитик. Он живет по преимуществу в сфере мысли, его действие — слово. К разгадке тайны повествователя может приблизить лишь анализ поэтики его слова, понятного и осмысленного в контексте критики, публицистики и лирики Пушкина 30-х годов, взаимодействием которых, по-видимому, и определяется уникальность жанровой структуры «Путешествия из Москвы в Петербург». Но это уже совсем другая задача.